

ХУДОЖНИК-ПРОВИДЕЦ

Татьяна Горичева

ДОСТОЕВСКИЙ — РУССКАЯ «ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДУХА»

I. Русская тихость

Именно в творчестве Достоевского сложился тот архетип, который стал для русской литературы классическим: поклонение Христу униженному, кроткому, бессловесному.

Много говорят о застенчивости русского человека, или о его стыдливости. Сама русская природа равнинна, не любит ярких красок. Иным русским, оказавшимся в Италии, пронзительное итальянское небо может показаться даже бесстыдным (как это описано в одном из рассказов Николая Ульянова). Слово «позор», означавшее в древне-русском «зрелище», теперь означает что-то неприличное.

Русская «феноменология духа» должна строиться по законам, противоположным гегелевским. У немецкого мыслителя всякое достижение в духовной сфере должно быть связано с **проявлением**. И совершенство абсолютного духа в том и состоит, что он «сам через себя постигает», т.е. проявляет. У русского глубоко засело в сознании, что проявление — это нарушение чего-то. Проявлять себя, значит навязываться, быть неделикатным. Так и остается Россия страной великих, но не проявленных и поныне возможностей.

Гегель и многие другие думали, что проявление рождается от избытка основы. На самом же деле проявление есть следствие радикальной бедности. Проявляют себе агрессия, страх, бесстыдство. Насилие — это проявление вдвойне. Насилие гораздо удобнее критиковать именно с онтологических, а не с этических позиций, ибо в наше время этика, мораль уже почти ничего не значат, взятые изолированно. Им почти всегда необходимо дать более глубокое обоснование. «Работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом» — вот основа, на которой может быть построена этика нашего времени.

Сегодня уже никто не находит «эстетичными» акты террора или насилия. Весь мир постепенно пришел к мысли, что «поработители уродливы». Проявление всегда неэстетично, потому что его бытие не освящено тайной.

Русский народ глубоко чтит святых страстотерпцев Бориса и Глеба именно потому, что они не проявили себя, не сопротивлялись насилию, не были театрально-героичными. И русская литература продол

жает эту религиозную традицию. Христос в ней «лен курящийся не угасит, трости надломленной не переломит».

II. Достоевский. Христологические структуры.

Принудительность очевидности.

В центре романа «Братья Карамазовы» — рассказ о том, как «старец провонял».

Старец Зосима уже готовился к близкой смерти, и все вокруг ждали, что вслед за этой смертью на монастырь посыпятся особые благодеяния, начнутся чудеса, наступит почти что Царство Божие на земле. И более всего этого ожидал Алеша, ожидал с ликованием и уверенностью. Но вместо благоухания и чудес старец «повел себя» как обыкновенный смертный, может быть, еще хуже. Его «мощи» стали издавать нестерпимый запах тления.

Достоевский говорит этим: «в реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры». И Алеша, пережив отчаяние, бунт и состояние покинутости, вдруг прозревает к новой жизни. Обливая землю слезами, он поднимается и выходит в мир решительным, зрелым борцом. Станный «по поступку»¹ старца был началом некоей духовной инициации, введением в мир подлинной веры. Алеша был до этого лишь преданным, добрым мальчиком при великом духовнике, но после испытания свободой он становится поистине воином Христовым.

В русском, православном Христе нет ничего от магического поработителя, или от схоластически-аристотелевской «причины». Он не магичен настолько, что порой к Нему приложимы категории «философии исчезновения». Мы увидим, что у Достоевского Христос не дает ответа на упреки Великого Инквизитора, Он просто целует его и исчезает.

Христос в пустыне отказывается творить чудеса, не желая повлиять на человека, призывая человека к свободному выбору. «Ты не хотел сойти с Креста, Ты хотел свободной веры», — говорит инквизитор.

Больше всего на свете люди боятся свободы. Спокойствие, даже смерть человеку дороже свободного выбора. «Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться» (14;231) — Великий Инквизитор обещает исправить подвиг Христа и облегчить существование рабского человечества введением чуда, тайны, авторитета. Все три вещи уже принадлежат дьяволу: «Мы давно уже не с Тобой, а с ним...»

Великому Инквизитору, презирающему людей, считающему, что христианство возможно лишь для кучки «героев», Достоевский противопоставляет Алешу и старца Зосиму. Последний всегда учил: «Нужно любить людей в их радости». Значит, свобода — не нечто мучительное

¹ Неловкое, но очень точное выражение госпожи Хохлаковой

и редкое, она — дар Божий каждому человеку. И если даже нужно пройти через страдания, то благодать Божия не оставит человека и там, и там нет креста не по силам.

III. Принудительность страсти

Рене Жиран убедительно показал в книге «Ложь романтизма», что страсть не соединяет, а разъединяет людей. Она — некий третий между двумя, ей отдается вся энергия любви, и встречи между двумя любящими не происходит. Каждый движется, как марионетка, ведомая чуждой и слепой силой, движется к идеалу, а не к реальности, не к другому «Ты». Страсть — это проявление, кристаллизация проявления *par excellence*. Не зря христианство борется со страстью. Святые Отцы говорили: всякая страсть — начало смерти.

Страстный Дмитрий Карамазов в своих поисках 3-х тысяч реализует тезис об Ахиллесе и черепахе. Парадокс не в том, пишет психоаналитик Славой Жижек, что Ахиллес не может догнать черепаху (он может ее и перегнать), а в том, что он не может встретиться с черепахой. Как в страшном сне, он приближается к объекту, который от него постоянно удаляется. Объект — это всегда не схваченная граница, которая находится между «слишком рано» и «слишком поздно». Всегда **невовремя** — такова сущность страсти, сущность недвижимого движения (опять сон), парадокс о покоящейся стреле. В суете, в нереальной, бессобытийной видимости повторение одного и того же жеста, Сизифов труд, Митины поиски денег, Грушеньки, любви. По-гречески грех означает непопадание в цель. По-русски похоже — огрех, погрешность.

Сначала визит к Самсонову, — ослепленный Митя не замечает, что старик над ним смеется, его надувает. Потом поездка к Лягавому. Митя приехал слишком поздно (или слишком рано): Лягавый был смертельно пьян. Встреча не происходит — Лягавый начал «нелепо мычать и крепко, хотя и неясно выговаривая, ругаться». Ирония судьбы преследует Митю неотступно. Он решается ждать, и невольно засыпает. Проснувшись, он находит Лягавого сидящим на диване и вмиг догадывается, что «проклятый мужик» опять пьян, «пьян глубоко и невозвратно».

Лишь когда остервенелый Митя решается на все — т.е. освободить мир от своей персоны, дать свободу Грушеньке и всем остальным, лишь когда он кротко приезжает посмотреть на чужое счастье, Ахиллес догоняет черепаху. Встреча Грушеньки и Мити состоялась именно в момент преодоления страсти (через жертву), в момент исчезновения одержимого «внешнего человека» и зарождения в Мите «человека внутреннего». Жертва — вот что распинаят всякое проявление и дает бытию статус реальности. Возводит его на уровень события.

И здесь абсолютным примером для всех был и будет Господь Иисус Христос. Через Распятие Он оправдал мир, людей, само существование. Дьявол думал поймать грешного человека, а столкнулся с Богом. Так поют в православной Церкви.

Христос — это абсолютное Событие.

Единство двух природ во Христе раньше часто понималось статично, как некое состояние. Но благодаря философии 19-го и 20-го веков (Гегель, Шеллинг, Хайдеггер) бытие мыслится как история, событие. Движение сегодня — не нечто негативное, несовершенное. Бытие и история совпадают у Гегеля, бытие и время — у Хайдеггера.

Христос — это событие, и Событие главное. Впервые в истории человечества что-то единичное и уникальное приобрело абсолютную ценность и значение. В православном богословии эта тема пока разработана не была. Но в богословии западном она стала одной из центральных. Бультман, например, писал: «Самое важное во всей христианской истории, что это событие произошло». «Иисус Христос — это эсхатологическое событие, решительное действие и последнее слово Бога».

Особенно замечательно, что русское слово «со-бытие» указывает на совместное присутствие, на преодоление одиночества.

Сама ткань прозы Достоевского пронизана драматичной событийностью, поисками уникального, неожиданного, рискованного. Христос — это, выражаясь языком современной философии, нечто совершенно невозможное. Его нельзя изобрести, придумать, «вычислить». Он абсолютно реален, следовательно, абсолютно неожиданен.

Достоевский ориентирован на это центральное и невозможное Событие. У его героев (как у Настасьи Филипповны из «Идиота») «вся жизнь висит на одном волоске». И каждое мгновение от судьбы можно ждать чего угодно.

Митя приехал в Мокрое **вовремя**, в тот уникальный момент, когда чары злого сна распались и стала возможна встреча с собой, с любимой, с Богом, стало возможным совершенно невозможное.

Встреча Мити и Грушеньки в Мокром, которая привела к возникновению настоящей (уже не через inferнального посредника) любви, позволила Мите открыть Бога в себе самом, и он принимает путь жертвы добровольно, даже радуясь, хоть это и не он убил отца.

Жертва — восстановление существования. Так было уже в древних религиях. Индуисты, например, приносят жертвы своим Богам каждый день, ибо они думают, что без жертвы ни солнце не встанет, ни ветер не будет дуть. Но самое высокое и полное понятие о жертве выработало, конечно, христианство. Если раньше (в язычестве и иудаизме) в жертву приносили животных и людей, то в христианстве пожег себя сам Бог.

Мысль о жертве — центральная у Достоевского. Недаром эпитафией к роману «Братья Карамазовы» он избрал слова: «Истинно, истинно».

но говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. XII, 24).

Святые отцы иногда даже противопоставляли жертву и чудо. Как пишет св. Николай Кавасила: «Когда Господь дал нам свою плоть и кровь, Он не упомянул о том, что воскрешал мертвых, лечил прокаженных, и Он сказал лишь: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается... сие есть кровь Моя, которая за вас проливается».

Почему же Он не упомянул о чудесах, а говорил о страданиях? Потому что они именно важны для нашего спасения. Человеку нельзя спастись без страдания, тогда как чудеса — лишь внешние знаки».

IV. Взгляд извне — невроз и грех. Взгляд изнутри — любовь.

У Достоевского часто героини мучаются чувством вины, не могут сбросить с себя воспоминания прошлого, не в силах выйти из круга самобичеваний. Особенно трагична эта власть греха над сознанием в Настасье Филипповне. Она никак не может себе простить свое давнее «падение» и надеется на князя Мышкина, как на какого-то мага или Бога, который придет и скажет: «ты не виновата». Князь Мышкин говорит ей это, но освобождения Настасьи Филипповны не наступает, она предпочитает смерть.

Структура греха замкнута на себя. Самое страшное, что человек не может понять сам себя, все ходит вокруг да около, кругами, вечными повторениями, тяжелым ритмом невроза.

Морис Бланшо писал о повторении, как о попытке «овладеть» ничто. «Ничто», а не «падение» причина самоистязаний Настасьи Филипповны, ведь ничего собственно тогда, в ее ранней молодости не произошло. Она раздувает «ничто», обволакивая его разрастающимися пересказами, повторениями, воспоминаниями. Как «хороший литератор» у Бланшо. В 20-ом веке этот прием мы находим особенно ярко выраженным у Франца Кафки. «Роман «Замок» — описание Талмуда человеком со стороны, как чего-то абсолютно чуждого. Мидраш мидраша.» (Морис Бланшо). У Кафки герой никак не может войти: ни в замок, ни в «дверь закона», хотя эта дверь была предназначена только для него и именно для него. Грех бьет в самое больное — в сущность и неповторимость моего «я». Грех — это нарост на пустоте, скорлупа без содержания, распинаящий и убивающий взгляд на человека извне.

Поэтому «святые» герои у Достоевского смотрят изнутри, а не извне. «Ты единственный не осуждаешь меня», — говорит Федор Павлович Карамазов Алеше. И Достоевскому удается изобразить евангельское: «Не судите, и не судимы будете». Алеша не хочет быть судьей людей. «Казалось даже, что он все допускал, ни мало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости». «Обиды никогда не помнил. Случалось, что через

час после обиды он отвечал обидчику или сам с ним заговаривал с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего и не было между ними вовсе» (14; 18, 19). Алеша умел не обращать на себя внимания (прощать и себе), он жил в совершенном доверии Богу: попади в его руки целый капитал, то он не затруднится отдать его по первому же спросу. Как об Алеше сказал Миусов: это единственный человек в мире, которого можно оставить одного на улице неизвестного города и к которому немедленно кто-то подойдет и предложит деньги и помощь. Так люди (как и животные) тянутся к неосуждающей святости, — животные, по словам преподобного Исаака Сирина, идут к святым, потому что осязают запах рая.

Восстанавливал человека до райской полноты и старец Зосима: входили к нему люди в страхе и беспокойстве, а выходили почти всегда светлыми и радостными. Святость это победа над страстями. Из страстей же прежде всего над страхом. Страх и страсть — почти одно и то же, не даром эти слова имеют в русском языке один корень. Еще Декарт («Страсти души») говорил, что страх — это наиболее **видимый** из всех аффектов. Страх так силен, что «все тело, охваченное параличом, превращается в статую». Отсюда эффект Медузы. Всякая страсть — это маска, представление, простая видимость. Человек, охваченный страстью, особенно страхом, — это выпавший из времени живой мертвец. «Страх, — пишет исследователь страха Филипп Дюбуа — это ничто иное, как радикализация любой страсти».

Страх, наиболее внешняя из всех страстей, символизирует собой внешний, рабски прикованный к объекту через влечение или отвращение характер греха.

V. Фантастический реализм.

«И услышавши, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя».

(Мк., 3, 21)

«Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих».

(I Кор. 1, 20, 21)

Большинство героев Достоевского юродствуют или же похожи на юродивых. Это приживальщики, шуты и пьяницы, связанные по рукам и ногам низкими страстишками, но все же свободные. Таков Лебедев в «Идиоте», Федор Павлович в «Братьях Карамазовых», Ежевикин в «Село Степанчиково...», всех сразу и не перечислишь. Они, несмотря на свое рабство у стихий, неожиданны и неоднозначны.

Неуловим ни для каких определений и оценок Федор Павлович Карамазов. Все в его облике является оскорблением не только морали и религии, но и самой природы со всеми ее здоровыми смыслами. Например, будучи сладострастником, готовым «прильнуть к какой угодно юбке», он только к своей красавице супруге, Аделаиде Ивановне, ничего не испытывал. Узнав о ее смерти, он пьяный, «говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу: «Ныне отпускаеши», а по другим — плакал навзрыд, как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко было даже смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение» (14; 9).

Неуловим он даже там, где речь идет о выгоде или пользе. А Федор Павлович любил деньги и умел их приобретать. «Федор Павлович всю жизнь свою любил представляться, вдруг проиграть пред Вами какую-нибудь **неожиданную** роль, и, главное, безо всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе» (14; 11).

Старец Зосима разгадывает Федора Павловича: это шут от стыда. Очень уж он себя стыдится, и торопится предстать хуже того, что есть.

А стыд — это всегда чувство дистанции. Если человек еще способен стыдиться, не все для него потеряно, он видит себя со стороны, он ориентируется на то, что выше него, он, понимая свое несовершенство, осознает совершенство Бога.

Но не только забубенные пьяницы и «негодяи» юродствуют у Достоевского. Большинство героев светлых и почти святых тоже не похожи ни на кого, — чудаки, идиоты, блаженные. Так, например, уже на первых страницах «Братьев Карамазовых» сказано об Алексее: «это человек странный, даже чужак». Что уж говорить о князе Мышкине, который без конца именуется себя и именуется другими юродивым и идиотом.

Достоевский вполне сознательно выбирает в центральные фигуры своих романов чудаков. «Чужак в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли?» — задает сам себе вопрос Достоевский. И тут же отвечает: нет, не так, ибо «не только чужак «не всегда» частность и обособление, а, напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались...» (14; 5).

У Достоевского целое — это наименьшее, самое невозможное, фантастически уникальное. «Всякая действительность невероятна и неправдоподобна, и чем даже действительнее, тем иногда и неправдоподобнее», — говорит Лебедев.

Сегодняшняя философия очень чутка к идее «безосновательной реальности». Уже Хайдеггер говорил, что «закон достаточного основания» сам не имеет под собой никакого основания. Существование — это «невозможная необходимость» (Лакан и его школа). Существование поэтому эксцентрично, время экстапно (Хайдеггер). Обыденность,

скука, банальность — все признаки повседневного бытия — поле нереального; повседневный человек живет как бы в постоянном сне. Разбудить этого человека, как это делает Достоевский — задача благородная, истинно христианская. Взорвать банальность — с этим согласятся бодрствующие, пребывающие в непрерывной духовной брани монахи-аскеты. Не зря поэтому преподобный Паисий Величковский назвал монаха «повседневным мучеником».

Все обыкновенные, «нормальные» герои Достоевского — все эти безликие и «приличные» Тоцкие, Евгении Павловичи, Лужины — легко понимаемы, их поступки объяснимы. Это люди, уважаемые в свете, все же совершенно нереальные. Они — скорлупы, призраки, а не люди. «Реальное как целое не имеет оправдания. Таков парадокс целого и детали — существующий элемент принадлежит к несуществующему целому». «Есть внутренняя недостаточность реального — у него всегда отсутствует его собственная причина» (Клеман Россе). Именно частичное и не свободное всегда обосновано и оправдано, как «оправданы» поступки «приличных» героев Достоевского. Можно сказать, что логика Достоевского не только христианская (ибо выше всего она ценит свободу), но это и логика «философии жизни», поскольку Достоевский выступает против гегелевского и механистического представления об истине, как об рационалистической объективации. У Гегеля целое — это обязательно реализация, развертывание первоначальной идеи. Гегель — за обрастание условностями, мотивациями, институциями, за статистический закон больших чисел, за общее против фрагментарного и исчезающего. Достоевский же, напротив, «слабостями своими гордится», он за бесконечно-малое органической жизни. Ничтожное малое зерно должно совсем умереть, потому что только так принесет оно много плода. Все герои Достоевского — нищие, страдающие, пьяницы — т.е. «малые» мира сего. И не зря Раскольников убивает ничтожную старушку, не понимая вообще, человек ли она или «вошь». Только так и открывается «человеческое». Убив старуху, Раскольников убил себя.

VI. Идиот.

«Идиот» отличается от других вещей Достоевского тем, что здесь уже впрямую и сознательно ставится тема святого, живущего в мире. Это попытка изобразить положительную святость, вошедшую в мир с целью преобразовать его любовью. В письме к Аполлону Майкову Достоевский пишет: «Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная, и я не приготовлен, хотя... я люблю ее. Идея эта — изобразить вполне прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно...» (28, II; 240-241). Роман называется «Идиот».

В князе Мышкине очень много от юродивого. Уже то, что он приезжает из-за границы, из далекой и чужой Швейцарии, сближает его с юродивыми, которые были чужестранцами не только в духовном плане,

но часто и в плане физическом. Первые юродивые на Руси часто появлялись «с земли немецкой», от «языка латинска». Юродивый, подобно Христу, не имеет места пребывающего, он ищет свою небесную родину, свой рай и плачет о нем, как утерянном сокровище. Так и князь Мышкин видит в глазах Настасьи Филипповны то место, где «они уже однажды встречались», он угадывает в ее трагической красоте поруганную софийность, и хочет освободить эту красоту от ложной плененности виною и самоистязанием. Князь Мышкин смешон, как смешон Дон-Кихот, о котором Достоевский сказал: «Эта книга действительно великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет» («Дневник писателя»). Дон-Кихот терпит поражения, он фигура юмористическая. В письме к племяннице Софии Достоевский пишет: «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос... Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон-Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон-Кихот; но все-таки огромная) тоже смешон и тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному — а, стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора...» (28, II; 251).

Вышел идиот, юродивый, но не «ругающийся миру», не нападающий на бесов (по слову св. Иоанна Лествичника), не Иов на пепелище, а блаженный, невольный «буй», невинный, как дитя. Юродивый смешон, но не вызывает сочувствия, как вызывает его «идиот». Юродивый не юмористичен, он скорее таинственно-гротесковен. Если функция юмора — прикрывать пропасть между тем и этим мирами, между истиной и жалостью, если юмор «увлажняет» (юмор от латинского корня «влажный»), то гротеск безжалостен и сух. Настоящие юродивые вызывали смех, перемешанный с благоговением и даже с ужасом.

Мышкин пронизателен, но это пронизательность чистого, любящего сердца бессильна изменить мир. Достоевский показывает Мышкина ребенком, он убежден, что через детей «душа лечится», ведь дети — образ Христов. «Сих есть Царствие Божие». Но детство во взрослом, даже в патологически старом мире — всегда провокация. Провокация невольная. Но поскольку она вскрывает истину, то режет по живому телу. Так «юмористический» князь Мышкин оказывается объективно жестоким, он почти никому не может помочь, а, напротив, усиливает страсти, углубляет пропасть. «Твоя жалость пуше моей любви», — говорит Мышкину Рогожин. Князь Мышкин пришел к людям с душой, переполненной «внутренним веселием», доверием к Богу и людям. Он беззаботен, легко отдает все, что имеет, он прост. «И Он пришел в мир и мир не узнал Его.» Эта идея, повторяемая в «Великом Инквизиторе», доводит трагический разрыв между Богом и человеком до почти святотатственного кенозиса. Идиот не может ответить на вопрос

Ипполита. «Для чего мне ваша природа, ваш Павловский парк, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо и ваши вседозволенные лица, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего?» (8; 343). Ипполит говорит о картине Гольбейна: «На картине этой изображен Христос, только что снятый с креста... это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста, раны, истязания, битые от стражи, битые от народа, когда Он нес на себе крест и упал под крестом, и, наконец, крестную муку в продолжение шести часов (так, по крайней мере, по моему расчету)... Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики Его, Его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за Ним и стоявшие у креста, все веровавшие в Него и обожавшие Его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их?» (8; 338-339) Князь Мышкин не может ответить Ипполиту, он еще не умеет говорить «как власть имущий». Это не Тихон Задонский, не старцы поздних романов Достоевского, настоящие борцы со смертью и учителя духовной брани, умеющие утешить и примирить, и мертвого воскресить. Поздние старцы и Макарь Долгорукий из «Подручка» уже и будут носить в себе эту мировую гармонию, благообразие, тот «золотой век», о котором мечтают и смешной человек, и Версилов и многие другие.

VII. Надежда.

Достоевский — писатель надежды. Это особенно важно в наше время, когда, казалось бы, места для надежды не осталось. 20-ый век — век утопий и их разоблачений. Разоблачена любая идеология. Нынешние интеллектуалы уже не рискуют больше «требовать невозможного», как это было в 68-ом году. Но самый скептический и недоверчивый из них, Чоран пишет: «Вся этическая проблематика укладывается для меня в очень простую формулу. Все, что связано с надеждой, хорошо. Остаток принадлежит дьяволу. Преступник, в котором живет еще надежда, ближе к добру, чем отчаявшийся непроступник». В христианской традиции самый большой грех — отчаяние, ведущее к самоубийству.

Адорно спрашивает: можно ли еще философствовать после Аушвица? Можно ли еще богословствовать после Аушвица, Гулага, Чернобыля? Достоевский ответил бы так: только после Аушвица и возможна настоящая христианская философия.

Сегодня мы философствуем «после смерти». И духовно, и даже материально наша философия — это философия «исчезновения».

Исчез оптимизм и вера в «светлое будущее». Исчез и пессимизм, поскольку сам вопрос о смысле жизни почти никого не волнует. Все устали. Исчезли животные, травы, стихии. Исчезли целые народы,

культуры, языки. Уже год центральным событием в культурной жизни Парижа становятся выставки-панорамы по предколумбийскому, скифскому, этрусскому искусствам. Осип Мандельштам писал, что наше время возвращается куда-то к истории — к шумерской и египетской культурам. Нас тянет заглянуть по ту сторону истории. К гротеску, химерам, Гойе. Ибо жесткость и монструозность этих форм освобождает нас от исторического релятивизма. Они апокалиптичны.

Философствует после Аушвица Самуэль Беккет. В его «Эпиплоге» все доводится до «нулевого уровня», до крика. После крика возможно лишь молчание. Или самоубийство? Так убивают себя Кириллов и Ставрогин у Достоевского.

Ставрогин умирает от опустошенности. Кириллов по-другому: он думает, что единственно честный выбор в борьбе с Богом — это самоубийство. Смерть — последняя истина. Мы делаем вид, что будем жить вечно, что не умрем. Но чем больше мы ищем истину, тем меньше мы существуем — подобный ход мысли мы находим у глубоких экзистенциальных мыслителей Запада — Паскаля, Камю, Клемана Россе.

Мы живем через Невозможное. Живем, получая каждый момент жизни незаслуженно, неожиданно, как чистый дар. У Достоевского это ощущение появилось или усилилось благодаря тому, что его приговорили к казни, и, когда он уже стоял с завязанными глазами на плацу, приказ вдруг отменили. Потом один из его самых непутевых героев в романе «Идиот» Лебедев будет молиться за графиню Дюбарри. Когда гильотина уже была над ее головой, графиня умоляла: «Еще один момент, господин палач, еще один момент». Момент жизни — это бесконечно-малое времени, это неожиданная, невозможная радость. Одна из любимых народом русских икон так и называется «Нечаянная радость». На ней изображен разбойник, каждый день шедший на разбой и убийство. И каждый день он перед тем, как отправиться на свои дела, молился Божьей Матери. Однажды она сошла с иконы и запретила ему разбойничать. Так «нечаянно» Бог дарит спасение и разбойнику.

Надежда у Достоевского — это «надежда сверх надежды», которая и есть вся пасхальная полнота жизни. Каждый православный русский человек слушает в пасхальную ночь слово святого Иоанна Златоуста: Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудися постыся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе прииде, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже не сумнится... Аще кто точно достиже и во одиннадцатый час, да не уstraшитса замедления: любочестив бо сый Владыко, приемлет последнего якоже и первого... и последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует... Тем же убо внидите все в радость Господа своего...

Все принимают участие в пире. Все равны, равны не в бедности, но в богатстве. Любой человек — царь. И все братья друг другу, ибо нет границ Божьей любви.

У Достоевского много темных и горьких страниц. Но есть и главы, переполненные счастьем. С-частие по-русски у-частие. Такова глава «Кана Галлилейская» в «Братьях Карамазовых». Чудо преображения, победа над смертью, праздник любви.

«Пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и премудрый архитриклин, вино новое пробует. Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке...»

О «луковке» рассказывает Алеше Грушенька:

«Жила-была одна баба злющая-презлющая и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит, да и думает: какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставь бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. На, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть, и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидели, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-презлющая, и начала она их ногами брыкать:

«Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша». Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел»(14;327,319).

«Луковка» — это бесконечно-малое в обратной перспективе Божьей любви. Чем больше любит Бог, тем ничтожнее наша перед Ним заслуги и достижения. И самое страшное — жадность. «Моя луковка...» Жадность антисоборна, анхиейхаристична. Любопытно, что беднейшие, но религиозные общества отличаются гостеприимством и щедростью, тогда как богатая Европа боится обеднеть и считает каждую «копейку». Это оттого, что оскудел Святой Дух.

Старец Силуан, живший в 20-ом веке на Афоне, сказал: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».

Многие герои Достоевского «держат ум свой во аде». Это прошедший сквозь испытание (смерть старца и искушение) Алеша Карамазов, и проститутка Соня Мармеладова, и боримый страстью и ревностью Митя. Это и сам Достоевский, писавший, что его вера «прошла через горнило сомнений». Это и алкоголик Мармеладов, произносящий: «Нужно, чтобы каждому человеку было куда пойти». И этих пьяненьких

Бог тоже пустит на свой пир. Потому что они лучше других знают, что грешники и ничего не достойны.

Достоевский показывает гонимых своими страстями людей, мучимых одиночеством, любовью, идеями, самим существованием.

Но он помнит о словах Христа: «придите ко мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы». На браке в «Кане Галилейской» все отдыхают и обретают друг друга.

Часто герои Достоевского находят покой и свободу, лишь оказавшись во внешней несвободе. Этим как бы говорится: свобода дана Святым Духом, а не социальными и политическими институтами. Дмитрий Карамазов нашел в себе нового, внутреннего человека, лишь оказавшись в тюрьме. Он мечтает спеть Богу гимн под землей. То же и Раскольников.

У Паскаля есть слова: Христос в агонии до скончания мира. Для православных это тоже так. Но не совсем так. Агония вторична. На первом плане — мир и радость души. Надежда на покой и тишину. После крика должна наступить тишина. Но не мертвая тишина самоубийц, а живая, трепетная «умного делания». Умное делание, исихия по-гречески — это Иисусова молитва. В русских монастырях она читалась непрерывно. И называлась «тихованием».

1994